

Евгений Сологуб

Там, где мрак сгустел

Судьба из романа

Дивертисмент

Бережно уложив ладони под каменную поросшую сухим кустарником волос голову, в исхудалом теле, в грязном, истоптанном, избитом пальто на жесткой холодной дырявой скамейке спит мужчина: обтерханный воротник закрывает его щетинистые впалые щеки, острый нос болезненным выпадом торчит из лица, грязный высокий лоб хранит память о том, что жизнь еще морщится на нем; джинсы его облипли грязью, а обшарпанные бледные кроссовки напоминают тухлую сумеречную петербургскую осень. Прохожие, выбрасывая обрывки фраз, семят мимо, вдыхают загаженные городом лиловые сумерки, пропадают в подъездах многоэтажек. Он лежит. Не шевелится. Зажав между ладонями клочок газеты — такой же ненужной теперь, как и этот человек здесь, в точке мира. Из людского потока выскальзывают двое полицейских: прапорщик и сержант. Нависают над мужчиной. Толкают немое тело.

— Э, пассажир! Конечная! — баритонит сержант. — Приехали!

— Жмурик, что ли? Проверь! — приказывает прапорщик.

У прапорщика на синеватом лице нервно моргают смазанные глаза, а голос высокий, скулящий. Сержант нащупывает пульс под воротом пальто. Одобрительно кивает, мычит: «Живой».

— Ну-ка. Давай его поднимем.

Четыре полицейских руки насильно ломают тело под форму скамейки. Шлепками прохаживаются по щекам.

— Ау-у-у! Любезный! Приехали, говорю! Просыпаемся!

— Юр, а от него и не воняет.

— Так что теперь? — и опять: — Просыпаемся!

Лицо мужчины спокойно, только губы ворочаются:

— Во-первых, я давно приехал. Во-вторых, сон — категория относительная.

В третьих, нечего мышами шарить. Денег нет.

— Попутал, что ли? Не видишь, с кем говоришь?

Евгений Сологуб родился в Петрозаводске, окончил филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 10.

Мужчина не раскрывает глаз.

— Видимо, с кем-то из представителей рода человеческого.

— Нам бы ваши документы увидеть, — неожиданно для себя вежливо просит сержант.

— Нет документов.

Мужчина протягивает клочок газеты. Приоткрывает один глаз.

— Всё ясно, — улыбается. — Говорю же, денег нет.

Прапорщик пускает ему кулак под дых. Мужчина сплевывает воздух. Раскрывает глаза.

— Во-о-т, сразу очухался! — хихикает сержант.

Прапорщик тычется носом в ушную раковину разбуженного.

— Если ты мне с начала дежурства мозг трахать будешь, придурок очарованный, не отдышишься.

— Вы можете меня изнавозить, изземлить, растоптать. Документов не появится.

— Бесполезно, Юр.

— Поднимай тогда его.

— Да что мы с ним будем делать?

Юркие пальцы сержанта ползают по карманам.

— Да вот же! Есть у него паспорт.

— Это ничего не доказывает, — продолжает улыбаться мужчина. — Я и стоя могу спать.

— Дай сюда, — прапорщик выхватывает надорванный мятый паспорт, раскрывает его.

— У него же здесь даже фотографии нет.

Сержант смотрит на главный разворот: окно вместо снимка.

— Он ее вырезал.

— Не люблю фотографий, — комментирует мужчина.

— Имя-то кто тебе такое дал, увалень!

— Вы бы в меня свое время не складывали. Слышу, — мужчина прислоняет грязную с почерневшими ногтями кисть-антенну к уху: — слы-ы-ышу, кто-то помощь зовет.

— Сука какой, а! — скулевизжит прапорщик.

— Юр, давай оставим его, пошли. Больше мороки.

— Идите, господа, идите.

Прапорщик осматривается, пропускает мимо еще несколько прохожих и запускает кулак в косматую бровь юродивого, мечет в него паспорт. Мужчина падает на скамейку, прижимает бровь и, улыбаясь, шамкает в ответ:

— Спасибо.

Прапорщик сплевывает под ноги, еще что-то шипит и в свирепой дрожащей борьбе самообладания с яростью отскакивает от скамейки. Сержант его догоняет, виновато оборачиваясь в лиловых подсвеченных сумерках. Юродивый, отмахиваясь от немых вопросов, возвращается в горизонтальное положение, сует паспорт за пазуху, ощупывает взбухшую мокрую бровь, размазывает кровь по лбу, разглаживает клочок газеты и, не видя, но помня текст, читает.

Не первый и не последний раз: *Фаворский свет в современной благотворительности. Почему в литературе по-прежнему есть место доброму делу, и как превратить издательский бизнес в улыбку оставленных детей*, — скажут его глаза по размазанным буквам, а уголки губ лезут к ушам. — *В цивилизованных странах благотворительность является нормой*

жизни, и Россия в этом отношении остается на задворках, то ли стесняясь, то ли жадничая. О проблемах благотворительности, о слове, ставшем плотью, и что должно произойти, чтобы человек осознал в себе ориентированность на благо, рассказал идейный вдохновитель и лидер благотворительного издательства «Фавор» Яков Персин...

* * *

Нужно было решиться. Что-то предпринять.

Перед глазами висит. Каплями избитое, прыщами изрытое. Да не лицо — лаваш, мышами обдерганный. «Я — здесь, я — в очереди, все в порядке, ждю», — язык по шелковицам губ дождь слизывает. Изморосил тело дождь петербургский: тает оно, еле стоит в потоке, справку в синяках печатей в нос тычет. Сквозь шум крови слышит младший сержант ухмылку прапорщика, дрожь старшины — чуть поодаль. Глаза жадные всюду стреляют, да по спине — автомобильный гром. Всего-то документы проверить, отпустить: свободы всем хочется, жить не запретишь! Там же — за спиной — ждут другого. «Это боевое крещение, товарищ младший сержант. Уши не развешивай. Ты что же, в полицию за правдой пришел? Или же за стабильностью? Крутись, крутись!» Падай — занимай стул. «Они же тебе потом, знаешь, устроят. Всю спину исплюют, еще и ныть будут!» — это уже другой кто-то, рядом, науськивает. Взгляда в набухшем лаваше не видать, лишь влажные замочные скважины пустуют. Ключ понимания подбери, отвори.

Младший сержант Велехвалов скважины прогнал.

Прапорщик, на удивление без усов, облокотившись на козлика, ухом выслушивает копошение в *жалелке*. Двух бомжиков собрали, причешут в вытрезвителе. Кулаком стучит в ответ, смехом давится. Надо бы пройтись.

— Жене на подарок надергать! Кровь из носу, обмороки!

— Надергаем, товарищ прапорщик. Ночь длинная, — хлопает носом старший сержант.

Ум короток. Костик Велехвалов привыкнет. опытом упиваться надо, барахтаться, не тонуть. Здесь в очереди стоять не нужно. Выходи. Бери.

Только не проси. Само придет. Отец-то гордится, да пропал куда-то!

Помнил младший сержант Велехвалов одобрительный слезный голос командора, Велехвалова-старшего, подергивания и перебежки его там, далеко — то на берегах Онеги, то Северной Двины — не уследить.

— Я горжусь тобой, сынок! — не голос — раскаленный песок афганский.

— Спасибо, отец. Спасибо!

— Человечище!

Капитан в отставке, отец, воин, и формы не снимал. В старшие офицеры так и не перешел да жаловался:

— Умру — и залпом ружейным не помянут. Лишь молчанием.

— Молчание — это даже лучше, пап.

— Заткнись!

Сдулся. Костик знал: хлопнула душа, сломался. Попросили, или сам ушел. Не любил отец об этом, лучше о другом. О том, как мир рушится без войны. Точнее, мир войной полнится, а ему, капитану, военному, офицеру, ни одной не достается. Герои пропадают, перезревают, гниют.

— Им воля нужна, а что мир может предложить? Мир без войны — тюрьма! Нам Бог войну завещал. Бог и есть война, сынок!

Не голос — автоматная очередь.

Опустевшая казарма со вселенную размером, пояса пустых коек покой стерегут, не видать конца и края, сидит товарищ капитан в полном обмундировании, гордый и одинокий, видит Костик, «Тревога!» ждет. Жене в той казарме не место. Мать на кухне, в уютно бурлящих кастрюлях, прислонилась к сильной военной спине. «Видимо, судьба у меня. Это Он мне всё спину военную подставляет. Это не отец твой. Лед и пламень», — хвасталась она сквозь время, а потом из кухонного парного уютя принимал Костик:

— Умница, сынок. Так держать. А я уж думала — не найдешь ты нормальную работу. Умничка! Олег тебе привет передает. Даю-даю!

— Здесь дело чести! Мужчина! — отчим подкидывает стальную стружку слов, царапает железом уши.

Тут же, на Невском, у Елисеевского, еще один спиной оборачивается, спортивный костюм хоть и водой набух, да бежать не мешает.

Споткнулся о натянутый канат, это Невский проспект, младший сержант Велехвалов. Все по канату, он — через. Оглядывается, лицо тучным брызгам подставляет, смотрит: кто поет, кто телефону день пересказывает; глаза усталые, заведенные, спрятанные, притихшие, смоченные; плащи и куртки, зонты, баррикады одежд, очков, шляп.

Мужчина, Костик, мужчина!

— Отпустил узбекскую морду, спасовал! — зубы о язык натирает прапорщик.

— Наверстаем!

Запутался он. Кинули младшего сержанта Велехвалова на передовую улиц цепным псом, руками правосудия, а он теперь должен зарабатывать на хлеб пресущенный. Улица-то чаевыми полнится.

Мужчина-а-а-а!

— Чаевыми? — переспрашивает Костя и ощущает чуткое шевеление внутри.

— Ты что же думал, нам в кайф здесь без поощрения ходить? Жопу морозить, младший сержант?

— Все расскажут. Только тихо.

— Как же это?

— Тебе — тихо, им — говорить.

Что тут понимать? Понимать не нужно. Отдайся плану и потоку да цапай медвежьей пастью тех, кто на нерест идет, сам того не зная.

— По одежде не смотри. Одежда обманчива. Утка. И бумажник проверь! По нему все ясно!

— В глаза смотри. Они их прячут. Боятся. Ты воплощение страха! Так что давай, страх, сам не ссы!

— Они под твоей защитой, а ты под, — палец вверх, — сам знаешь.

— Мне здесь уже не раз отсасывали. Лишь бы без приводов. Им легче рот испачкать, чем задницей в обезьяннике лавки протирать.

— Вон-вон, идет. Видишь?

— Добрый вечер, прапорщик Гужин, — затупленное, вялое копые ладони к виску. — Ваши документы.

— Он же побежал! Ты видел, что побежал, какого хобота?! На празднике что ли, обморочная твоя морда!

— Упустил свой кошелек — никакой дележки. Хрена лысого, ясно?!

Мужчина-Костик. Тридцать лет без дела, а тут пожалуйста: и звание, и стабильность,

и почет. Сутки за сутками, блуждание в людской ряби, в сумерках петербургских, под простыней ночей, под звездным перемигиванием.

Так и привык, затих, и тихо-тихо, между сутками, выстукивает что-то клавишами купленного на первую зарплату ноутбука, пускает линии, ручейки, готовится душа к чему-то, слышит-выискивает.

Словом, ходил, плыл, бродил, пил Костик Велехвалов меж сутками — в миру, а между миром, в рабочие часы, облачившись в форму кукольную, младший сержант Велехвалов орудовал, вынюхивал, клацал. Город впитывал каждый шаг, и каналы уводили за собой, развевались черными водяными ленточками на сером платье города-героя, города-забудыги, города-чудака, а Костик сам себе удивлялся: «Сколько же во мне людей? И никто не поссорился!» Потом опять: когда хныкал, когда улыбался, поддерживал разговоры, прятался в тени гражданки, выпученными ретинками глаз сверкал и головой лысой маленькой — телу случайно досталась, что осталось — с причудливыми мышьями ушами бодал ветер. Губы дуются, ноздри крыльями машут, нос вдыхает газы, каналю пресноту, ядовитые смеси парфюмерных бутиков, пыль. Вновь и вновь сменялись прогулки письменным столом (да и стол шатался, бежал куда-то), ноутбуком, фильмами, компьютерными играми, барной стойкой, залитой утренним перегаром оружейной, дрожащими руками, глазами узкими, красными, заплывшими, вонью, трелью, гамом, женскими губами, теми, что выше и ниже, и бегом, и завыванием в голове, и материнскими возгласами, похвалой, слезами, стальной, не знающей выхода воли отца, и таял, растворялся, сбывался Костик, опухал, сдувался, пропадал. Он знал, в какой земле вырос, где впитывал соки, но кому отдавать, куда плыть, а главное, на что решиться, — не представлял.

Когда в душе прохладным ветерком поднимались вопросы и, вырастая, шумели ураганом, он точно пьяный искал, где бы преклонить голову. Он — или один из него — был уверен, что это возможно, что единственное, в конце концов, спасение — это то самое преклонение головы, желание поклона. А для поклона нужны глаза, которые смотрят, которые видят, которые понимают, он и читать был не мастер, но что-то выводил, рассуждал, перечитывал, а что перечитывал, что он мог понять? Ничего было не разобрать, возможность жизни спадала, глохла, захлебывалась грязью, летящей из-под колес ментовского козла, заглушалась воем, топотом, стонами из жалелки, и только одно резало и препарировало сознание, только одно. Как прекрасны, как блаженны были те слова! Голосовой нерв, масштабы любви. Он уже любил, изнывал, дрожал всем телом, всем существом, кожей впитывал этот дождь, бережно копошился в клавишах ноутбука, неудовлетворенный, хотел повторить каждое слово, движение, переписать, понять, вникнуть. Так он и говорил. *Вот то, что дышит, живет во мне.* И чтобы доказать себе, себе высказать, он переписывал вечерами, абзац за абзацем, то, что так любил, то, что не давало покоя под электрической лампой, нимбом высвечивающей макушку, то, что стало путешествием за грань разума. *Нет, нет, нет!* Не давал слабину, сопротивлялся! Каждое слово — аккуратно, четко, чтобы и сомнения не было, что это не его, Костика, души дело. *Нет! Только не здесь, не сейчас!* Как мог, скрывался Костик от внутреннего отца, прятался, закрывал глаза, а в моменты абсолютного отчаяния, в моменты, когда кровь не давала никакого покоя, когда зверь просился и война отхаркивалась вместе с горячей слюной, он пускал кровь, резал кожу, исключительно на ногах, чтобы на службе не было поводов усомниться, разговориться, расплестись в его, младшего сержанта Велехвалова, нормальности, чтобы только выпустить наружу голодного отца, его бурление, обжигающее нутро, эту плотскую правду, пропахшую необузданным семенем, что изливается каждую ночь

на койки казармы, — эту войну. Возвращался Костик из ванны и продолжал выводить то, что не давало покоя, под взглядом, под пленом отца. Уже утро резало стекло, проявлялся на фотокарточке окна день, и взгляд бросался на предметы, глаза слезились, дрожала рука, ныла шероховатым багрянцем нога, и переписываемое обрывалось на полуслове (*посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в гла*), и самоуверенное лицо с дрожащими руками уже протягивало документы, и дождь, и снег, и время липли на лицо, уродовали губы в наглой улыбке, и страх человеческий, кафкианский страх носился по улицам: от страха спотыкался каждый встречный, ждал, молил, просил, пробегал. И снова. Снова.

— Младший сержант, младший сержант, тут готовая, ты посмотри, пышет вся, хочешь, а? Велехвалов?

— Кто же не хочет? — облизывается Велехвалов, а Костик говорит: *Я — пес.* — Затем глубоко вдыхает, хихикает истерично и входит. Пропадает в черной воде, в своих лабиринтах.

Буду ребенком! Буду-буду! Пусть расскажут, как жить, пусть покажут. И выведут куда-нибудь. Все одно. Я есть. А завтра не будет!

Скулит, просится взглядом Костик в подведенные глаза, которые на жизнь смотрят и жизнь не любят. Лишь ждут, лишь зовут смазанные губы: «Ну, решайте скорее, отпустите уже, дайте поспать!»

Костик смахивает ресницами ночь, сглаживает веками день, а следом встает новый. Молчат каналы, молчит асфальт. Только внутри у Костика все говорит, на свет просится. Когда-то давно, сто пятьдесят лет назад, ему удалось высказаться, найти слова. Так что переписывай, что говорил. Набирай и радуйся, что это осталось, это есть. Моргай, перелистывай дни и ходи в молчаливом городе. В котором не заглянуть, только загулять. Вот синяя харя прапорщика уже говорит, снова чему-то учит. Точнее, учит чревовещатель-водка, прапорщик только открывает рот, харкает и сморкается.

— Ты бы с бати пример брал, обморок ты ходячий. Глаза бешенные. Ты же пес, пес! Рви. Тебя бояться должны, я говорил. Водку вон умеючи пьешь, — и людей испивай! Как водку! На! Пей еще! Сегодня хороший улов! О-от, гриб очарованный! У тебя, может, и трусишки кровью пачкаются раз в месяцок, а?!

Огромный синий чудо-сом плюется хлебным мякишем, сопит тухлым морским дном, а усы — в соплях. Глаза рыбы еще сопротивляются, хотят пожить, но мутнеют, меркнут, тупеют.

Моргай, младший сержант Велехвалов, смахивай дни!

Крутится Петербург, взлетает, зеленеет, все ярче и ярче, к самому центру звенит лампами, лунами, шагает, шинами шелестит, горит! Пылает голова у младшего сержанта Велехвалова и бредет он, не помнит, зачем и как; рыба не поглотила, отрывивала водкой и хлебом, мямлила, собирала, никуда не перенесла. Окунуться бы в зазеркалье канала, набраться воды сполна и быстрее ко дну — к бутылкам, водорослям, илу, костям. Долой день! Прочь! А он — снова. Вновь запах спермы, теперь отчетливый, не прогнать. Прелая половая тряпка из серо-коричневой канавы ведра перед лицом — нет, не у него, он — под защитой — у того, кто шевелится, едва ползает на полу: тело в крови извивается, грязные штаны приспущены, на бледной ягодище остановился в движении буро-бордовый ручеек, резиновая дубинка, измазанная кровью и калом, тут, рядом, в ногах, лежит напоминанием. Восточное лицо беспощадно жалостливое. Но границу уже перешли, жалости не докричатся. Лицо молодое, будто слезающая с черепа маска, все измятое, ватное, кривое. Тряпка у губ. Дышит лицо

тряпкой с прелым запахом, жует тряпку, чмокает, дергается. Скрипит песок на зубах, и зло побеждает, бьет по желудку, лишает сил. Костик не участвует. Смотрит. Не моргая. Как слепой. Слышит рвотный рев и хохот.

Смаргивает под голос: *Только бы не устать переписывать, только бы не устать! Чтобы не забыть, потому что если и это забыть, если и это потерять, написанное им тогда и переписываемое сейчас, спустя сто пятьдесят лет, то тогда вообще неизвестно, что делать и зачем.*

Веки тяжелеют, отдыхают. Чувствует Константин, младший сержант Велехвалов, видит ее, которой можно рассказаться и остаться человеком. Она здесь — в этой комнате — спряталась в льняное платье, перебирает четки, смотрит в окно и почти не дышит, но думает, уже непременно что-то выдумала, и хочет огорошить его, спасенного, вызволенного, несостоявшегося воина, огорошить, а в тихом лесу комнаты горит экраном ноутбук и серый день в окне не дает света, только стоит она, она, она! молчаливая издевка, стянувший горло канат! она! может превзойти, прибить к столбу, поджечь хворост у ног факелом волос, может сжигать сутками! Память-то не подводит, лишь предохраняет, бережет разум, он еще пригодится, для любви, для заботы, для послушания.

Тогда он растекался под сваями ее мягких пальцев. Алкоголь ушел с потом, с прикосновением пришла нега, тело погрузилось в обжигающий воск, обратилось в свечу — таяло, горело. Она что-то говорила ему на ухо, что-то спрашивала, скользкие руки теплыми рыбами рассекали тело, и в центре, в солнечном сплетении, неведомое языческое племя разожгло огонь, а с ним и плоть: плоть искала, целовала. Да, тело помнит. Еще отчетливее помнят мочки — дыхание, поцелуи, зубы ее. А вокруг — тайское благоухание, утоленное желание, сон. И впервые, наверное, спустя юность голова в тепле, в заботе.

Кристина!

Только один день, один вечер.

Кристина!

После — крестная мука.

Кристина.

Так она назвалась, так и висела на мочке, шептала. Она была первой, кто услышал его, не внешнего, а внутреннего, нашла маленького мальчика, наряженного в гусара.

Так было.

Гостиная в новогоднюю ночь. Зажженные на куцей искусственной елке гирлянды ласкают спину теплом. Костик смотрит на маму: покорная, ожидает конца — в черном платье с блеклыми солнцами подсолнухов. Ждет в дверях и не смеет мешать, ведь будет только хуже и никакого праздника, никакого *С НОВЫМ ГОДОМ С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ* уже попросту не видать, хотя она и знает, что теперь это только условность, не заклинание и не бытовая молитва, а простое желание одной ночи, желание заблуждаться, вялое истечение времени, брызги бенгальских огней, салатная феерия, загульное пьянство, поэтому условия перемирия необходимо исполнять: есть устав, есть распорядок, есть уважение и честь, чтобы не видел отец, что бы отец ни чувствовал, а вот и отец: держит в руках растрепанную книгу и плачет. Семилетнему Костику кажется, что это не слезы, а та горькая вода, от которой мутнеет в глазах, жжется в горле и сопли в носу, это же она заставляет папу вычитывать, изливать на Костика параграфы своей настольной книги.

— Я до сих пор помню, — говорит Костик в ароматном горении свечей ее глазам,

темным за пологом пыльных сумерек, неразглядным в душном пространстве массажной комнаты. — Я многое помню. Не то, что нужно. Слушай.

Замолкает. Закрывает глаза. Как бы весь выпрямляется, а Кристина видит, как маленькая бархатная голова надувается венами, и тело каменеет, точно пойманное смертью врасплох. Она боится. Костик начинает: потрескавшиеся губы, смоченные слюной, требовательно шевелятся, барабнят: *Глава двенадцатая огневое нападение сун—цзы сказал огневое нападение бывает пяти видов первое когда сжигают людей второе когда сжигают запасы третье когда сжигают обозы четвертое когда сжигают склады пятое когда сжигают отряды при действии огнем необходимо чтобы были основания для них огневыми средствами необходимо запастись заранее для того чтобы пустить огонь нужно подходящее время для чтобы вызвать огонь нужен подходящий день.*

Костик замолкает, кажется окончательно, но молчание крадет смех. Гиеной, заведенной игрушкой, клоуном хохочет Велехвалов и не хочет останавливаться. Только губы, которые целуют и поцелуями снимают боль, которые укроют, одарят теплым влажным дыханием, губы, в которых хочется жить, губы Кристины возвращают Костику молчание, а массажной комнате — стонущую тишину.

Спустя счастье, службу, обещания, любовь, Костик встал перед Кристиной — узнанным, растерянным, отдавшим, чтобы встретить в глазах занавешенные окна и потухающий свет — не испугался, а растерялся: в дом его не пускали. Он был закрыт на его же ключ, и остался он, этот ключ, там — за дверью. Тогда-то и обрел голос Костик, на кухне, в особняке, в котором провел с ней большую часть времени, как слуга, как плотник, как любовник: закидал заброшенную хижину бомбами, речевыми безделушками и отчаялся, прогорел, стек лужей собственного желания к себе под ноги. Он и не думал, что это предательство. Так могла подумать только слабая, забитая мышь, а Костик, Воин-Велехвалов увидел, расшифровал дезертирство. Расшифровал, тем не менее, не поверил до конца. Он же чувствовал! Он готовился рассказаться заново, вернуться к себе, к ней и снова, на этот раз другими словами, все проявить.

* * *

Сначала они долго бежали, от самого дома до набережной, около трех километров. Потом качали пресс, подтягивались; напоследок, чтобы подавить остатки сил, отец бросил сына под ноги — отжиматься. Дорожка была залита цементом. Острые осколки камней выпирали из ее шероховатой поверхности, больно впивались в кулаки, а натянутая на костяшки кожа рвалась. Костик слышал ее треск и отцовский ор: «Терпи! Не халтурь! Когда бабу твою мацать будут, кто ее защитит? Опускайся ниже! Грудью касайся земли!» На ослабевших трясущихся руках он держал свое взмокшее тело. Не плакал, не выл. Вся воля ушла в разорванную плоть. Утекала. Отец нависал невыносимым брезентом. Выходил из себя. В сумерках светился от ярости, плевался. Костя сдался. Упал грудью на холодный цемент. Тяжело задышал. В каждом отцовском шаге, в каждом импульсе, исходившем от него, Костя видел только разочарование, боль потери. Слово кто-то навсегда лишил полководца достойного воина. От осенней сырости, усталости, ма́стерки, что пропиталась потом и заледенела в пути, цепенело тело. В осенних сумерках они медленно возвращались домой, к двухэтажному серому деревянному дому на шестнадцать квартир. Оба разочарованные. Костя слышал пресно-плесноватые перебежки темной озерной воды за гранитным парапетом. На другом берегу за водяным полем буйного чернозема горели огоньки деревень, ощерились тени хвойных лесов. Костя спрятался от ветра в капюшоне и шел, не поднимая головы. Пинал глаза бурыми от осени носками красных кроссовок.

Мама встречает их тихо. Ничего не говорит. Даже если бы и попыталась, слова сожрал бы отец. Как сжирал любовь, проглатывал, не пережевывая, и сплевывал злобой.

— Костик, пойдем ужинать. — Манит за собой пропахшим едой фартуком. — Надо только снять грязь эту с себя.

Стягивает с него сырую мастерку, футболку.

— Так он у тебя и будет Кости́ком, — прихлопывает ласку отец.

— Чем же плох Костик?

— Тем, что не мужик, а заикание.

— Ладно тебе.

— Лучше помолчи!

Лицо надувается. Глаза пенятся злобой. Дверь разрывается снарядом, взрывной волной обдавая стены. Мама пригибается, виновато улыбается, приговаривает:

— Ну, пойдем-пойдем.

Под телевизионный хохот Костя с мамой жуют фаршированные яйцом и зеленым луком котлеты, заедают картофельным пюре. Мама пристально разглядывает свою тарелку, а Костя разрешает:

— Мам, если ты не хочешь, не ешь. Чего в себя пихать?

Женщина поднимает голову, мучительно улыбается бледным ртом с росинками пота над верхней губой, и говорит:

— Нет, Костик, я хочу.

Потом встает и подходит к окну — форточку открыть. Полы домашнего бледного сарафана поднимаются, оголяют выпуклость вен на икрах.

— Жарко чего-то. Отец опять натопил.

Отец любил топить. Прежде это была полукруглая, обшитая жестяными листами печь, не один раз выкрашенная серебрянкой. Но отцу она надоела. Ее разобрали. Под руками знакомого печника выросла другая: двухметровый куб из красного кирпича с чугунной дверцей и поддувалом. Ручки на них воинственно скрежетали, скрежет разносился по дому, цапал за уши. Костя приносил дров, с грохотом разрывающихся петард скидывал их на жестяной настил перед печью. Отец садился на маленький табурет, насупись лисьим лицом, чихая, кашляя, выгребал золу в эмалированный таз. Костя ссыпал золу под березу в палисаднике, на который выходили окна его комнаты, а когда возвращался, огонь уже дергался в перестрелке-перетреске, извивался в зеве печи, и по гостиной носился запах дыма и жженой смолы. Отец долго смотрел на пляску. Согнув спину, что-то выдумывал про себя, кивал, смеялся. Мог просидеть молча не один час, подкидывая поленья и приговаривая: «Вот тебе еще на закуску!»

Чаще всего, когда был дома, он сидел в своей комнате, перечерчивал карты боевых действий, смотрел военные фильмы, исписал не одну тетрадь в девяносто шесть листов. Листы в них походили на салфетки или половую тряпку. У Костика тоже были такие тетради. Ручка, как копьё в плоти, вязла в них, не писала, а выцарапывала. Поэтому в один день Костик подошел к маме и попросил денег на карманные расходы. Мама, не уточняя, протянула купюру. Костя купил толстую тетрадь с картонной обложкой и гляцевитыми плотными листами. Довольный, вручил ее отцу. Отец пролистал подарок и только спросил: «Зачем?» Костя пожал плечами: «Приятно писать». — «Сам бы и писал», — как всегда, не сказал, а сплюнул отец, но тетрадь забрал. Неисписанной она лежала на полке с многочисленной военной литературой. От классики до современной. Тогда он еще служил по контракту, почти каждый день проводил со срочниками в казарме, иногда на боевых учениях, и неизменно

возвращался под вечер растерянный, уставший, преданный. Хлопал дверью и скучал у себя в комнате, выписывая разнообразные цитаты, по-детски улыбаясь, кивая головой, соглашаясь.

Иногда отец брал Костю с собой на дежурство. Ночь они проводили в затертом и душном расположении роты. Костя ходил по стоптанному желто-кафельному центральному проходу, осторожно открывал покрытые лаком двери кубриков, вдыхал кисло-сонный солдатский запах, выслушивал сопение, разглядывал испуганные белки глаз тех, кто не мог заснуть. Отец отсиживался в кабинете командира роты. Цокал грязной кнопкой мыши. Играл в солитера. Только-только новоизбранный президент выглядывал из глянца мятого плаката, одобрительно улыбался. Два стола, заваленные сэндвичами папок из толстого картона, в углу на учебной парте по оставленной посуде, пакетам с печеньем и сахаром бегали муравьи, серый потолок бледно и тоскливо нависал, освещенный темной вазообразной люстрой.

А бывало и так: пьяный капитан Велехвалов в спортивном костюме выхватывал Костю из теплого гнезда постели, приказывал собираться и вел его мимо угрожающих грязных от мрака двухэтажных домов по синему скверу под шелест тополе. Сквер больно колот глаза фонарями, из-за этого Костя шел вслепую. Отец врвался в расположение, гаркал на лейтенантов и поднимал роту по тревоге. Заспанные злые солдатики в белых изъеденных стиркой грязных кальсонах терпеливо стояли и выслушивали глупые тухлые отцовские шутки и приказы. Он не один раз знакомил роту с сыном, не один раз угрожал, выкидывал: «Если только кто-нибудь, какой-нибудь обморок здесь попробует!.. Услышали меня? Очарованные!» Костик захлебывался, тонул в красных стоптанных взглядах, среди выстроившихся частоколом лысых голов, горбился от оглобли отцовской руки.

Он многого не понимал, но многое видел: всхлипывающую издерганную звуками маму, лицо которой от потекшей туши походило на овсяную кашу с изюмом; синяки, которые она закрывала тональным кремом; голого отца, в пьяном угаре забрасывающего себя снегом и золой под той березой, что видна из окна Костиной комнаты; обесмысленные рыжие глаза, стянутые мутной алкогольной вуалью; рот, что скалился, изрыгал поучения и приказы; тихую улицу, тихий двор, огненные пляски городских фонарей сквозь слезы; чалую дворовую собаку, которую подкармливал скелет-старик в облеслом тулупе; пятиметровое пламя сарая; военные судороги отца; сдувшиеся тухлые овощи на черной земле; грязные сизые лица мальчишек, с которыми шли деревянные бои, гонки на тачках; скрещенные руки, поцелуи, ужимки девчонок и мальчишек постарше; жалюзи леса по дороге к бабушке; сырые сумерки леса внутри.

Одной долгой ночью его вырвала из постели яркая вспышка, до протяжного звона полоснувший ухо хлопок. Сердце в панике просилось наружу, в сонной пелене он смотрел на жестикулирующую тень отца, но ничего не слышал. На какие-то доли секунды он даже успел сказать себе: «Как же хорошо иногда ничего не слышать». А отец нависал и брызгал слюной, разрывал рот, и мама оттаскивала его от сына, колотила, пинала. Так случилась первая и последняя домашняя тревога. С разорвавшей терпение и перепонки учебным запалом во главе. Это была последняя капля.

Так закончилась военная подготовка. Так Костя, как ему казалось, освободился от внутренней казармы. По крайней мере до своего совершеннолетия, с наступлением которого он возник в другой. Костяшки стянула свежая кожа. Мама спряталась за новую стабильную военную спину, переехала в пятиэтажную хрущевку соседнего района. Костя перестал вскакивать по ночам, по какой-то упертой инерции он еще изнурял свое тело зарядкой, но без тени отца. Только иногда, в противовес сшибающей

с ног усталости, сквозь сон он еще мог слышать «когда бабу твою мацать будут, кто ее защитит?!» Ор бродил в голове и теребил мозг вместо будильника и уходил, оставляя Мужчину-Костю лежать с открытыми глазами, всасывающими серую тряпку потолка, который в точности повторял другой, в кабинете командира третьей мотострелковой роты капитана Велехвалова. «Совсем как листы из его дешевой тетради», — ворчало спросонья эхо впечатления. Все внутри Кости Велехвалова, в его тусклой душе, превращалось в одно большое человекосмещение, в испуганное жизнью чудище, которое смотрело из сна не одной парой глаз, всхлипывало, ржало, стонало, пока Костя не просыпался. Скорманный, продрогший, забытый. Но чаще всего Костя просыпался ни с чем. Только слышался запах плесени или обветренной еды, что осталась в тарелке с вечера. По комнате мог семенить еще сон, могли облезать стены, слезиться глаза от ветра, еще можно было услышать запах рыбной пресной сырости или узнать лес, что ошетинился на другом берегу черного озера.

Давно уже скулила печаль и жила скука. Сытые от счастья глаза матери заглядывали в комнату. Она обнимала возмужавшее тело, непрестанно кормила плоть. Костя нехотя учился, осторожно смотрел на мир, вздрагивал от резких звуков. Каждого, кто ждал общения, сторонился. Он чувствовал приближение чего-то, что могло его освободить, дать воздух, он так привык к надзору, что покрывался мурашками и жадно глотал воздух, когда понимал, что свобода, которой он обрастал, в скором времени достигнет апогея, и тогда уже ничего не воротить назад, ничего не выкорчевать. Тогда он на третьем курсе юридического факультета вышел в массивные деревянные парадные двери университета и больше не возвращался. Вернулся в казарму. Под гнет и надзор. Но и там ощутил жалкий, скуластый оскал скуки. Четыре месяца учебки, и потекшие желтки лычек капнули на солдатские погоны, а вместе с ними и должность заместителя командира взвода и полтора десятка лезущих из орбит туповатых глаз, которые не могут и не хотят. Костик унижал, объяснял, тряся, прижимал ногой к полу. Он стоял в высвеченном дневным светом пространстве центрального прохода, за два месяца до увольнения хихикал в стороне от одного срочника-тракториста, которому посчастливилось вырасти до старшины. Кое-как собранный, громадный утес, со сломанным носом и выпирающим ковшом челюсти, что сочно жевал слова и гнусаво выплевывая их обрубки, говорил: «Над пон-ть, к-да д-лись ещ одни калики!» Рота стояла. Рота немела. Из Костиной груди рвался смех, камера мобильного телефона снимала следственный эксперимент и допрос свидетелей, а потом, ночью, упакованный в пружинную койку, как в гамак, он открыл глаза, запустил руку под подушку, посмотрел на экран (02:00) и прошептал: «Скучно». И еще раз, громче: «Скучно!» Собрав свое тело, в белых хлопковых каликах выплыл из густого сладко-сального потока солдатского сна и, ступая по мокрому холодному рельефному кафелю центрального прохода, сопровождаемый взглядами, которые висели под черными задами дневальных, просачивался в серебрившуюся щель приоткрытой двери соседнего кубрика. В лунном пространстве, заполненном с одной и другой стороны четырьмя койками, дышали рядовые, а в углу, у окна, под потоком лунного света сидел тот, кто не давал Костику Велехвалову покоя — на две головы ниже, в три размера шуплее, с девичьими руками и пробивающимися ребрами, со складками кожи на животе, с сухими грустными глазами, взгляд которых задерживался на всем дольше обычного. Когда Костик в первый раз оцарапался этим взглядом сквозь пущенную из строя шутку, то на секунду замолк и спросил себя: «Может, он поймет? Может, и ему скучно?» Потом они встретились на дежурстве. Разделили обильно политый стуженкой батон на двоих, шутили и подмечали глазки и взглядики, обсудили мышей и прапорщика.

Это уже было не столь важно. Потом он посоветовал Велехвалову несколько русских фильмов, которые стоило посмотреть, а Велехвалов в ответ посоветовал только один, который отец показал ему в семь лет. Это был «Чистилище» Невзорова. Миша, так звали нового друга, смотрел, не отрываясь, не морщась, только иногда нажимал на паузу и молчал. А Костя визжал от восторга на весь кубрик: «Это тебе не Антониони твой, не Тарковский!»

В отстроеном тенями пространстве Миша еще одной иссиня-серой тенью сидел на койке и походил на короткий фонарный столб. Костя подкрался, аккуратно поднял сложенную ровной стопкой солдатскую форму с прикроватного табурета и опустил Мише в ноги. Сел, наполовину смочившись молочной сывороткой лунного света, молча уставился на Мишу высвеченной сумасшедшей половиной лица с фосфорным белком глаза.

— Что, Костя, скучно?

Костик задергал головой, ядовито улыбнулся.

— И что делать? — вздохнул Миша.

— А я к тебе с тем же вопросом.

— Я не знаю.

— Это розыгрыш, — делится тогда Костя. — Я же здесь не пью совсем. Никак. А теперь перед сном лежу и трясусь. Голова светлая, постоянно думает и мыслей ежедневно столько накапливается, трястись поэтому и начинаю.

Сглотнул смех и продолжил:

— Так скучно, что на стену лезешь. Я-то думал, сюда пойду, не будет скучно. А! И все равно! Спасибо батю!

— Не кричи.

— Насрать! Думать-то голова не может.

— Записывай. Я говорил.

— Не умею я.

— Как умеешь.

— Ай, плевать. Ты послушай. Здесь же все ненастоящее. Мне вообще кажется, что я здесь родился и вырос. И Питера никакого нет. Есть только кубрики и черкаши. Ха-ха. И сами мы как черкаши. О-ох и смешно. Вернусь, два месяца всего осталось, вернусь, а Питера нет. Ха-ха. Если вернусь еще. Скучно, Миша, как же скучно! Не знаю, может, так и должно быть, чтоб скучно-то? Сегодня с тобой и не поговорить, ха-ха! Профессора включил.

— Какой уж профессор, Кость. Посмотри на меня: тень тенью, лень ленью.

— Может, еще что посмотреть?

Миша провалился в пружинном гамаке койки, потянулся к тумбочке, достал книгу и протянул Велехвалову.

— На, лучше почитай.

— Скучно.

— Тогда не читай.

— Ладно.

Костя вынырнул из кубрика, задергал веками от яркого света и прошел в комнату досуга, сжимая пальцами, точно эспандер, мягкую пухлую книгу. Он упал на диван, опустил локти на колени и посмотрел на обложку с фотографией Юрия Яковлева в роли князя Мышкина.

— Ладно, — еще уговаривая себя, выкинул вслух Костик и начал читать.

Так было хорошо. Столько смысла, столько боли сочилось теперь ему в душу.

Сколько слюны выпрыгивало из его рта, когда он восторженно кричал, стонал, хохотал, обсуждая роман. Как восхищался! Тогда-то он и сказал Мише, всё так же в ночь, сидя на табурете:

— Это я написал. Ха-ха! Я те говорю, это я написал! Я! Ты понимаешь?!

— Нет, — отвечал Миша и довольно улыбался.

Два месяца спустя Костя понял, что ошибался. Питер существовал. Под самый новый год, пьяный до одурения, до безумного мысленного хоровода он орал Мише в трубку: «Он существует! Он существует!» Обложенный белым тряпьем снега, он шел с бутылкой дорогого коньяка по Гороховой улице и жадно прикладывался к горлышку, заедал лохмотьями снега и сплевывал густую ржавую слюну. А потом все затерлось, пейзаж зачесал глаза. Если, конечно, Велехвалов опять не начинал пить. Он пил и с Мишей. Они встречались. Уезжали в алкогольные путешествия, пьяными шатались по кинотеатрам, забивались по разнообразным Костиным углам, жались друг к другу, друга друга боялись. Опрятному, стильному Мише виделось в Костиных замашках что-то бандитское, звериное, даже этот лисий оскал, который Костик перенял у отца, кромсал Мишино сознание, и бесценная кожаная куртка, и типичный запах недорогого одеколона, и ботинки на один сезон — все, что в любом случае не подходило для Миши, тянулось, лезло в глаза. До первого глотка. Потом зазубрины, стыки смазывались, сглаживались, бледнели всякие различия, и рождалась та самая *мясная* философия.

Мама всегда звонила Костику. Схваченная дрящимся бытом, охраняемая блочными стенами хрущёвки, она интересовалась пропадающей жизнью сына, а сын в пьяном подполье орал и захлебывался, дрожал от восторга:

— Нет никакой жизни. Только колеса и мясо. Мы — мясо! Я могу взять твою голову, оторвать, насать, поиграть ею в футбол. Все поморщатся! Назовут меня извергом, каннибалом! А я им отвечу, слышишь меня, я им отвечу: «Тогда ни баранов, ни свиней не жрите!» Ходим, воняем, из себя что-то строим! Ау, Миха!

Миша медленно стекал по столу, падал.

Левые офисы, левые договора, бомжи-владельцы липовых фирм поначалу спонсировали Костю Велехвалова. Спонсорские он смело пропивал. Иногда «засыхал» на месяц. Молчал в себе. Иногда к нему приезжала мама. Обнимала, кормила. Он виновато улыбался деланно-здоровым лицом, прятал глаза, скучал.

Через три года волчьей алкогольной жизни очередной приступ скуки и желание стабильного дохода привели его в МВД, и младший сержант Велехвалов проснулся. Он отмахивался от отца внутри, но отмахиваться устал. Он закрывался руками от запоев, переносил оглушающий вой в голове, скалился. А потом принялся за любимый роман, который написал полторы сотни лет назад.

— Буду переписывать, слышишь меня, Миха?! Буду!

Таяло всё. Липло к подошвам берцев, густой массой расплывался город, и горел экран ноутбука. Мрели бирюзово-изумрудные жемчужины Кристины, и память бродила раскаленной угольной стружкой по телу, костенел мозг, сталью наливались глаза, лезли из орбит. Для Кристины появилась машина, могла появиться и квартира, но были только сменяемые комнаты.

— Мне женщина нужна! — жаловался Костик Мише.

— У тебя их много. Горы.

— Но Кристина — это совсем другое. Женщина! Ты бы знал, что она вытворяет, что делает со мной!

— Как и все.

— Этот запах! Ха-ха! А знаешь, как мы познакомились?

— Ты уже рассказывал!

— Еще раз расскажу! И послушай. Короче, ничего не помню, только одно: проснулся голый... почти... и маслом весь обмазанный, цветами пахну. Она надо мной стоит, улыбается, а у самого в голове только черные пятна, бабы какие-то, возможно, кокаин.

— И что?

— А ничего! Философский факультет она закончила! Баба-философ!

— Это серье-о-о-озно!

— Серьезно! — резал глазами Костик, и слышал Миша, как скулила живучая печаль.

Как очнуться?

Спрашивал себя один на один Велехвалов и выглядывал в окно, задыхаясь от очередного приступа тошноты.

И внутри, и снаружи — похмелье. Тебе хочется отдачи, жизни хочется, но скучно. Смазанные недели, усталые пейзажи, собачья тоска из каждого взгляда. Что-то еще можно сделать?

Каждую оборону нежно-грустного взгляда матери прорывал вооруженный рыкающий взгляд отца. Но отец ждал войны, а Костик ждал Кристины. Он ждал ее везде и всюду слышал. Даже в зеленоватом мертво-радужном свете фонаря он видел ее взгляд.

«Надо перестать. Так нельзя! — брал Костю за грудки трепет. — Хватит!»

Костик продолжал.

Химическое чувство вины проходило, жизнь сбегала в вечеринки, пустые будничные бары. Похмелье не заканчивалось. Скулила печаль и жила скука. Внутренний отец требовал действия, как требовали его сослуживцы: прапорщик Гужин и его рвотные клоны. Действие Велехвалов подавлял. Ему теперь хотелось мягко и нежно тянуться плющом к той, которая спряталась в особняке в замке, обвивать ее тело, слышать стон, сладкий запах сгущенного молока, исходящий от ее тела, слышать любовное хлюпанье сплетенных тел, наполниться изумрудно-бирюзовым туманом, пусть и жить за розовой дверью, в стучащем звуке клавиш, в литературном рабстве, да хоть где! Дверь же Кристины открывалась строго по расписанию, в остальном — только кошачье удобство коврика.

Душа мерзла, продолжительным отголоском на что-то надеялась, но отец уже топил печь, подкидывал поленья, ревя: «Вот тебе еще на закуску!» И Костик следом.

— Отвечай!

— Плакса-Костик, успокойся, миленький.

— Отвечай! Сама виновата!

— Никто не виноват, котенок, что же ты, Костик.

— Я Костика в себе с Архангельска убиваю!

— Вау! Какие мы, какие мы! Ну, раздевайся, раздевайся, я тебя промассажирюю.

— Такая же!

— Это мы слышали, это мы уже слышали, Кост... Котенок. Я говорила, никто не виноват. Любовь — дело проходящее. Мужчины — лишь тени: скользите да мерещитесь.

В присвисте ветра — ее голос. В студне каналов — ее лик. Кто теперь поймет младшего сержанта Велехвалова? Разве что полная гнилого ила, склизких водорослей и мусора Нева.

Пошла она! Пошла! Пошла!

А от Петербурга не спрятаться. В Петербурге в каждом окне, на каждой стене — *она*.

«Ниже-ниже, сволочь! Грудью к земле!» — не унимается отец.

Костя Велехвалов останавливается в мохнатом снежном дворе. Лохмотья падают на вспухшее ото сна и похмелья лицо. Голова кружится от навязчивой идеи. Грудь горит. Зима досаждаёт холодом и слякотью, морозом и льдом. Город спит нервно, то и дело вскрикивает от собственного кошмара сигнализацией, пьяным криком, песней, бессмысленным ором. Мужик, наглый, скукоженный, с фиолетовым лицом, в поло с пальмами и мокрым густым пятном в брючном паху тянет красную руку:

— Дай сигарету!

— Не курю!

— Врешь, морда!

— Иди отсюда!

— Не пойду! Сигаретки жалко?

— Иди, мужик.

— Ну дай! Мне еще голосовать за тебя!

— Где ты голосовать-то собрался, кретин?!

— Там, — палец в грязно-снежный асфальт. — Дашь или нет?!

— Пшел!

— Потом не упрашивай.

Лицо растекается фиолетовым пятном, мужик отскакивает от Велехвалова, одной ногой ступает в сугроб, валится, падает, тает. Велехвалов проходит двор насквозь, попадает на Рубинштейна, мимо проспиртованных тел стремится к Пяти углам. Резко останавливается.

— Пойду, что ли, благословения попрошу, — прыскает.

Возвращается к Владимирскому. Когда не пьет Велехвалов, страшно: желтоватые яйца глаз, ослепляющие гранаты фар, городской грохот, сопряженный со скрипом душевных петель — таким предстает город и принимается обыскивать всю его тьму внутри.

Нет. Невыносимо. Не зайду. Не вижу. Что делать?

Фёдор Михайлович сидит — напряжен и смирен, обессмертен бронзой, припорошен снегом — мыслит.

Фёдор Михайлович не поможет. Никто уже не поможет. Здесь что-то нужно предпринять. Что-то сделать.

— Я к ней поеду! Ясно?! Поеду! И покажу, как с мужиками говорить!

— Ничего не добьешься, молодой человек, только нос о дверь расшибешь, — не размыкая бронзовых губ, сипит Фёдор.

— Что ж предлагаешь?

— А разом кончить всё! Дрянью какой-нибудь.

— Какой же это дрянью?

— Так дровишек подкинь, Костик!

— Я не Костик!

— Нет, конечно, нет! Ты — его отец.

Костя выскочил из постели. За сон продрог. Привкус соленого железа во рту. Во сне язык прикусил. Не больно. Обидно. Проявилась комната. А за окном сквозь приторную сыворотку осеннего тумана лезет в глаза Волковское кладбище. Оттого, может, и сны такие — литературные. Об этом Велехвалов не думал, только ползал

ладонями по липкому лицу, пальцами лез в рот, точно кистью в баночку с краской. Кончик указательного вымазал алым. Комната объежилась в сумерках. Шкаф скрипнул, подмигнул сломанной дверцей, лакированный стол от советских дизайнеров пасса налегке у окна. Стул в углу шкаф подпирал. Прикроватная тумбочка, покрытая хлопковым платком с украинской геометрической вышивкой, на платке плюшевый фиолетовый кот. Старая игрушка пластиком глаз взирала.

Никто не поможет! Прапорщик правильно говорит: «Лучше задницу подставить, чем душу. Харкнул, не сразу заметишь. А когда заметишь — поздно! Уже во все дыры, товарищ младший сержант, суют и слюни пускают».

Костя поморщился. Гужин и сам харкал в каждого встречного. С него сочтется. Слышит Костя, кто-то шумит за дверью, бьют кого-то. Шлепок за шлепком. Глухие, тучные удары. Велехвалов осторожно ступает к двери, заглядывает в глазок. Никого. Мерещится спросонья. Теперь внутри. Стальной стружкой в уши влетает. Голова горит. «К бою!» Озирается по сторонам. В окно. Тьма. Светятся под луной тополя. Луна та мокрая от материнских слез. Да эхо режет: «Бою-вою-ою-ою-у-у-у!»

Вдруг внезапная тишь. Скрипят пластмассой надкрыльев цикады, сверлят тьму сверчки. Прирезает их протяжный дрельный звон мобильного.

Пора вставать!

Велехвалов не понимал, заменяла ли Кристина ему мать. Однажды он спросил себя об этом — как всегда невнятно и неумело — но пробираться дальше в глушь анализа не стал. Ласкала она его так, как никто до нее не ласкал. Он не уставал повторять это и хвастался ее безропотностью блудницы. Тело растекалось бесформенной кашцей под маслянистыми руками, чмокало под пальцами, а Костик еще неделю не мог его собрать. Были месяцы, когда она подпускала его к себе каждый день, после — гладила по голове и напевала комнате далекую пасмурно-родную песню, что-то страшно фольклорное, приторно русское, что не задерживалось в его памяти, исчезало во сне, а потом — как отмахнулась. И теперь Костик ублажал себя сам, склоняясь всей силой вождения к памяти, которая хранила этот сладко-соленый привкус ее влажного алого лона, этих глаз, что распаивались тысячами фиолетовых комнат, полных цитрусовых ароматов. Все это чувствовал, но не мог описать Костик. Только смотрел на ее фотографии и повторял за Львом Николаевичем: «Она много страдала в своей жизни...» — и закрывал глаза до того момента, пока не взрывался и не начинал стекать горячей прелой слизью по пальцам, а протяжный, объемно-грубый голос не выплывал напрямик из хижины Кристины: «Есть у птички той гнездо, есть у ней и дети, а у меня, у сироты, нет никого на свете»

Когда Константин Велехвалов с обожженной похмельем головой, с опухшим в разы языком и пронзительной болью в правой голени очнулся в раскачивающейся каюте съемной комнаты, когда услышал это садистское копошение мобильного трели и увидел истукана имени, который его так измучил, на разбитом экране смартфона, когда чей-то раскаленный голос возвестил: «Пора вставать!», тогда он, словно кого-то прихлопывая, взмахнул рукой, скинул телефон с тумбочки, измученным пытками заложником провыл: «Су-у-у-ка!»

Вырвавшись наконец из темницы сна и ступив на ногу, схваченную болью, рухнул на пол. На холодном линолеуме комнаты он корчился, извивался в желании одного глотка пива или чьего-нибудь теплого прикосновения, чтобы голова перестала страдать. Он еще ничего не понимал. Рядом с ним валялась затертая куртка из коричневой кожи, джинсы с засохшей рвотой и черными шрамами мазута, тупоносые

ботинки облипли красноватой грязью. Страх хватал за горло, душил. Костик захлебывался и не знал, куда спрятаться, где найти выход, он завыл и зарыдал, катаясь по полу, себя не вынося.

Не ценной я пес, чтоб во сне меня дразнить! А может, хрякнуть по венам и дело с концом!? Утекает жизнь. Никого не трогает, — скворчит внутри себя Велехвалов.

— У меня нож есть, — заговорил с комнатой — молчать нельзя: слова в голове бьются, просятся наружу, саднят болью.

— Подарочный нож, — лакомясь страхом, рычит в ответ Велехвалов-старший. Семилетний Костик хохочет.

Рукоятка из вишневого дерева, гладко-глянцевая, теплая; яркий свет пыльной стеклянной люстры, что свисает, слепит. «Ему семь лет! Артур! Семь!» — визжит мама, а отец растягивает: «Не визжи. За грибами будет ходить», — и толкает жену кулаком в бок. Она выплевывает воздух. Нож приятно тянет кисть к земле. Костику еще все равно, но чувство силы, сообщающееся от ножа руке, учащает сердцебиение.

— С днем рождения, сынок! Бабой не будь! — лукаво-лисьи подмигивает отец.

Снова эта оглобля, лопата ладони похлопывает его по спине, точно трапециевидный угловатый холмик свежей могилы.

А кто придет попрощаться, интересно? Самоубийц не отпевают... А ножичек-то здесь. У меня. В детстве пригодился. Для припуга и разделывания дождевых червей. Может, из-за этого вся жизнь — наискосок? Из-за червей? Не смейся.

— Лучше под *ее* дверью. Чтоб наверняка. Чтоб знали! — все хрустел голос, маялся по комнате.

Прогоркло во рту, солоно. Никого не видно. Телефон не сдается. Причитает, стонет голова у Костика Велехвалова. Впереди двое суток мучиться, скучать. Кто поможет Велехвалову? Кто освободит? Гуталином льется ночь в глаза и окна. Звезд овес гниет, исчезает. Черная ткань трескается от вспышек смартфонного экрана. Комната звенит. Из двухлетнего молчания взывает к Велехвалову товарищ капитан, отец. Он уже давно в своих патриотических разъездах и военных играх, из одного города в другой. Захочет — позвонит, захочет — забудет. Костик ползет к дивану. Он раздавлен. Он удивлен. Всё придавлен к полу ногой ночи. Дыхание автоматной очередью, схваченной птицей трепыхается в легких.

— Алло, — хромает Костин голос, сопротивляется ночи.

— Чего сипишь, очарованный?

— Батя?!

— А кто же? Кто же еще? Как служба?

— Нормально.

— Ну-ну.

— Ты ж в Кеми.

— А чё, я из Кеми, сыне, позвонить не могу?

— Алё, алё!

— Не алекай, калека! Че ты там, в бункере каком?

— Сплю.

— Подъем, солдат. Хе-хе!

Голос из трубки лезет гулкий, лесной, алкогольно-заблудший. Он марширует в ухо, точно капитан здесь, у самой головы, наклонился над убитым, проверяет.

— Сына, ты мамке-то передай. Денежек всех не заработаешь, а скоро — война. А *ее* этот тыловой только обделается.

— Я уже давно не звонил.

— Да побойку, сына. Передай!

Костик встает на колени, облакачивается на край кровати. Схваченная временем рвота приторно-кислой и каменной котлетой засохла на белой дырявой простыне. Велехвалов морщится, сглатывает обратно горькую пустоту, подступившую к горлу. Говорит дыханием в трубку. Неожиданно для себя, для ночи, для собственной воли:

— Я приеду.

— Куда ты приедешь, сына?!

— На войну.

— Клоуна нашел?!

Трубка выскрипывает невнятно, предсмертно, заходится в судороге коротких гудков. Тишина стоит над военной картой Костиного сознания, руководит. А Велехвалов, мужчина-Велехвалов, не шутит, он с собой не справится сейчас, ему бы унять скуку, что поселилась жалостью. Не к миру, к себе.

Следующий голос, сквозь весь Петербург летя, проявился бледно-бежевым лицом в будке кассы и нравоучительно отрапортовал: «Поезд номер шестнадцать А. Отправление из Санкт—Петербурга — 20 ноября в девять часов пятьдесят минут, в Кеми — 21 ноября в ноль часов тридцать семь минут, вагон двенадцатый, место седьмое. Проверьте билеты, не отходя от кассы. Приятного пути».

* * *

Почти никто не знал здесь Артура Велехвалова, но все видели. Траектория движений его была разнообразна. Один жест неизменен. Встанет на усеченном кресте перекрестка Пролетарской и Ленина, перекрестится на обрубленный обглоданный в кирпичных язвах Благовещенский собор, что стоит то луной, то месяцем подсвеченный, плотнет из бутылки, сохранившей домашнее тепло супермаркета, взвояет тяжело и пойдет к себе, в избу брусчатую, арендованную, чтобы там, в тишине собственного военного отчаяния, склеивать расслоившуюся жизнь, да так, что после каждого раза — лишь одна тлеющая немь пепелища. Он шатался по вечерам. Весной и поздней осенью переодевался в болоньевый камуфляжный маскхалат, из которого торчал ярко-красный ворот шерстяного свитера, а летом — в военную полевую форму советского образца. При этом четыре отполированных звездочки всегда скалились с погон, угрожали.

Все видели Артура Велехвалова, никто к нему не подходил. Только Слава Бесоногов, бывший машинист и бывший муж, замечал его, только он и говорил с Велехваловым. Они сошлись на двух формальных пунктах — на водке и сучьем существовании. Содержательно же во всем расходились. А на этом перекрестке — Пролетарской и Ленина — Бесоногов первый раз и заговорил с орущим Велехваловым. Тот был в грязно-бежевом бараньем тулупе, в клокастой меховой шапке, в берцах и шароварах цвета хаки, с бутылкой водки, которую он всегда держал в руке, как гранату — агрессивно и осторожно. Потом какая-то из женщин в Кеми прозвала его Урфином Джусом, а Слава Бесоногов рассказывал товарищам-курьерам: «Воет он, как волк, и морда такая волчья, нет, лисья скорее. Нос вытянут, туповат, как у Буратино, немного подпиленный. Плюшевым кажется. Все наоборот. Вроде скалится, и не страшно, а улыбнется — водка поперек горла встанет». Это было потом. А до этого Бесоногов примечал лишь его силуэт — шатающийся тулуп с холщовым полупустым мешком за спиной — виделось ему, носит тот что-то с собой, перетаскивает из одного места в другое, — как белка перекладывает запасы. А когда он посреди острой на мороз зимней ночи единственный прибежал тогда на потревоженный воплем перекресток,

сразу растерялся и перед тулупом, и перед эхом, и перед самим собой. Снег в ту ночь завис в индиговом пространстве ночи, искрился, раздраженный яркими перламутровыми плевками фонарей. Выбеленные сугробы по обочинам угрожающе стояли, сутулились, а Бесоногов сугробов сторонился: казалось все, укрылся кто под снегом — зверь али смерть.

Да, в ту ночь он ни секунды не думал, окликнул горлопана:

— Ты чего орешь?!

— Мне Бог для того и глотку дал, чтобы орать! — залиvisto ответил Велехвалов. — Ты, если хочешь, тоже поори! Нет — дальше иди!

«Контуженый», — самому себе пояснил Бесоногов и, как всегда, ошибся.

— Я, может, и хочу, да только людей пугать. Мне уже досталось.

— За чё?

— А за воровство.

— Ну, иди тогда!

Когда он проходил мимо собора (там за облупленными стенами пульсировал сердечным ритмом протяжный лепет, очень он в душу лез, Бесоногов слов не расслышал, но запомнил голос — заупокойный, пыльный), Велехвалов догнал его воем: «А ну сто-о-ой!» Он не остановился: ускорил шаг и голову в плечи вжал. Страшно не было. Он тогда не знал. Прилетит бутылкой по голове, лежи потом, кровью на морозе истекай. Велехвалов еще раз: «Сто-о-ой! Русский ты или не русский, нехристь какая?!» Тогда Бесоногов повернулся. На самый взмах руки. Только взмах был дружеский. «Эта волчья морда меня давай обнимать, — рассказывал Славка дальше. — Пойдем, говорит, ко мне. Я тебя водкой угощу, поговорим. А потом задергался так, нервненько, и сына, говорит, покажу. Времени на часах — восемь. Ни души. Сами знаете, зимой по вечерам во тьме шляться нет никакого толка. А я же сам за горькой иду. Думаю, черт с тобой! Пошли».

— Это к тебе, что ли, идти?

— Ко мне. А чё? У меня тепло. У печи посидеть, водки попить.

Бесоногов тогда заглянул к нему в глаза, испугался, но пойти решил наверняка. Они заскрипели по улице Ленина в темень. Туда, где рыбой-удильщиком стоял, как назло, среди темных столбов одинокий зудящий фонарь. По дороге сделали по несколько глотков из горла. Славка обеспокоился: «На двоих не хватит». — «У меня еще есть», — твякнул Велехвалов и глухо прихлопнул оба тулупных кармана. — «Велехвалов, — моя фамилия, капитан в запасе». — «Слава». — «Слава нам нужна! Только не чужая! А фамилия?» — «Бесоногов...» — «Кто ж тебе фамилию такую дал? Бесоногов...» «Бесоногов! Какая есть. Мне больше по имени нравится». — «Ну, разонравится... Шучу, шучу...» — «Ты военный, значит?» — «Без войны это ничего не значит, — постное существование». — «А я машинистом был. Попросили. Я на соляре попался». — «Сливал?» — «Ерунда! Все сливали, а я попался!» — «Прибереги пыл. В доме расскажешь!»

Оказалось, что от фонаря нужно было идти еще метров сто в гуталиновую лужу ночи. Только снег и спасал положение. Белел и сопровождал к кривому хребту забора. Он наполовину скрылся в сугробе. «Змей какой!» — бросил себе под ноги Бесоногов.

— Чё ты стонешь там?!

— Не видно же ничего!

— Что тебе видеть-то, очарованный?!

Полуметровый сугроб съела черная дорожка. До самой двери. Бесоногов шел следом. Одноэтажный брусчатый дом чернел, сопровождал в цвете сине-сизым

капиллярам голых деревьев. От двери ползла еще одна тропа — до деревянного ящика туалета. Славка шел за пухлой фигурой. Он старался не дрожать. Во дворе стояла вишневая «Нива», но цвет, конечно, Бесоногов узнал позже. Осколки мороза уже забирались под ногти. В осенних ботинках он все больше и больше казался себе беззащитным. Спортивки и пуховик еще справлялись, а капюшон, хоть и скрывал голову с острым лицом и крючком красного носа и пухло-обвислые щеки, да лысину не спасал — неловко и холодно было. Тонкие сиреневые губы немели.

— Ну! Заходи, полезный! Чего встал?!

Славка ступил в яркий комнатный жар, смахнул с головы капюшон и тут же захмелел. Его качнуло. Велехвалов подхватил собутыльника.

— Ты уже, чё ли?

— Тепло. Разморило, — протянул Славка. — Я тут, на диванчик присяду.

Прихожей в доме не было. С улицы дверь открывалась в кухню с отштукатуренной, посеревшей от времени русской печью в дальнем углу. У заслонки стоял маленький синий табурет, измазанный сажей, рядом кучкой вдоль стены расползлась горка дров, с них капал растаявший снег — грязный ручеек стекал к низкому табурету. На противоположной стене, на окне, по краям схваченным морозной плесенью, островками отражалась часть комнаты. Славка заметил себя, откинувшись на спинку дивана, обтянутого затертым красным бархатом. Лицо расплывалось. Бесоногов даже видел, как жар густо клубился в доме, простыней накрывая тело. Велехвалов с торжественностью марша поставил на грязный в разводах стол две вытянутые бутылки. Третью, которую он и не отпускал, жадно пригубил.

— Ну, садись!

— Уже сижу, — ответил Славка и поднялся.

В голове прояснело. Он вдохнул теплый воздух, услышал запах дров, приторно-мясной дух с шаловливо-водочным душком. Спокойно подошел к столу. На нем вместе с бутылками стояли две вскрытые консервные банки с развороченными мясными внутренностями и два граненых стакана. Велехвалов сбросил тулуп, метнул его на диван, полоснул ярко-красным свитером по глазам, наполовину залил стаканы водкой, поднял свой, приказывающе качнул головой, чавкнул:

— За Россию!

— За Россию, — виновато согласился Бесоногов.

И пропал.

...Метелью, опавшими листьями, теплым ветерком кружились в голове возгласы: «За Россию! За русский марш! За народное сопротивление!» Успевай рот открывать. Черный окосевший дом не отпускал Бесоногова. Здесь был один главнокомандующий. Только боязно довериться. Лицо у Бесоногова худело с каждым глотком, с каждым месяцем подрастал еж щетины — в бороде не по одной серебряной черточке. Бесоногову чудилось: быть ему здесь домовым: по углам прятаться да по вечерам с хозяином водку пить.

Водка — великое путешествие во времени. Таких скоростей еще ни одна голова не выдумала, не сочинила. Выпил — выбыл. А прошлое пусть с кем-нибудь другим развлекается, пусть тот, другой, спину гнет, потому что Бесоногов — в отпуске, в безграничном путешествии к собственному дну, там — без времени. Без колонизаторов. Без сна. Без величественного «*да будет свет*». Там Велехвалов из натопленного дома выглядывает, ревет-захлебывается:

— Бесого-о-онов, скотина ты толерантная! Только война! Ты мне предлагаешь Россию врагам сдать?

— Бесоногов я!

— Это ты американцем скажешь.

— А где они? Враги-то? — не слыша собственного голоса — так он далеко! — спрашивает Славка.

Нет ответа. Грубая брань, глаза, капиллярами изъеденные, выпучены, да отполированные стальные звезды на плечах афганки скалятся.

Вот оно — звездное небо, вот он — деревянный рай!

Бесоногов выглядывает в окно. Розовеет сочными цветами яблоня в саду, у забора — куций ветер заигрывает с обдерганными на чай кустами смородины, потрескавшимся гробом возвышается дощатый туалет, солнце через лупу окна жжет сухие пепельные кисти, грязь под ногтями — чуть-чуть и начнет травой зеленеть, а гранитовая мучная лисья морда ждет лишнего движения, чтобы сцапать.

Не в силах выносить разъяренного взгляда, снова прячет Бесоногов глаза в окно, глядит сквозь вышитое дождевыми бусинами панно: сырое темно-серое дерево туалета, гниющие яблоки плодородят раскисшую землю в проплешинах жухлой травы, кусты опали, небо теперь хмурится, хнычет, взывает к Славкиной совести и вишневая «Нива», потеет моросью. Велехвалов напротив, кажется, замолкает. Вместо него бурляще-хрипящим потоком бежит из динамика мобильного телефона, что экраном вниз лежит на столе, голос Высоцкого, а расплывшиеся от яда слез глаза Артура Велехвалова прячутся усталыми моллюсками в раковины век.

Я т-только подума-а-а-ал чужи-ы-ы-е курия-а-а папирски тут кто как сумеет мне важно увидеть восход.

Опускает Бесоногов глаза к локтям на столе, а там — наполовину полные стаканы. Как иначе в деревянном раю?

— Половцы! — ревет Велехвалов. — Шведы! Татары! Поляки! Немцы! Афганцы! Чеченцы! Могу перечислять! Кому не давали отпор?! Война не кончалась! А сейчас? Сейчас?!! Сопливые, скулящие морды, капиталом удобренные! Бестолочь и хлюпики! Ты вообще хоть понимаешь, что у американцев — я те кричу! — еще до сих пор химическое оружие не уничтожено! И что? Предлагаешь ждать, пока жопой кверху не всплывем?

— Откуда знаешь?

Славка не узнает своего голоса. Он теперь говорит с акцентом, мажет и проглатывает звуки, иногда мямлит, а мозг чист от всякого влияния, мозг понимает: я — в раю.

— Какая разница. Всё есть. Собрать отряд. И уже — не отвертятся. Ты думаешь?

Славка проглатывает теплую водку. Глушит рвотные позывы. Шарит глазами по кухне.

— Где мой пуховик, Артур?

— Чё?

— Где пуховик?!

— Какой пуховик, мудень? Октябрь на дворе.

«Сядь, не отражай», — слышит Бесоногов.

«Пей», — слышит.

«Ты почему солюру воровал? — слышит, но не видит, как корчится Велехвалов. — Лишний заработок. На удовольствия, так сказать. Понимаю. Тебя берут — и накрывают. А накрывает кто? Кто сам по брови в соляре. Ему тоже конкуренты не нужны... Сам же говорил. Ты-ты! Что лупишь? А я говорю, нам нужно вернуть военную аристократию! Кто не согласен, живите как хотите! Рта не раскрывайте. За границу?! А, пожалуйста!

Пшел! Только молча, чтоб неслышно вас было. А раскроешь — к стене. Пуля несогласного найдет. Ехайте Америку разваливать, соплями ее смазывать, мы и без вас справимся. Понимаешь или нет? Был рабочий — стал курьер-отброс. И семья не защитила, тоже сопли жевала. Так? Или не так?»

Бесоногов молчит, по-райски улыбается, мокро и грустно моргает. Каштановые глаза заплесневели, поиссякли.

«А все потому, что национализм — иммунитет от геноцида», — не говорит — гвозди забивает Велехвалов. Отрывает. Наливает.

За окном густая ночь. Морось. Голь. Месяц-отпечаток светит тускло, точно заляпан чем-то, вместо звезд — капли, кровь из носа. Кап-кап и перестала. Бесоногов дрожит, голос не слушается, все расплывается, а пот на лбу стекает жирными прозрачными червями по скулам; спина под олимпийкой, под хлопком линялой футболки стонет. Исчезает человек. Трещит, скрипит. Не громче поленьев в печи, не протяжнее двери, через которую в дом входит новый человек.

Человек пахнет осенней сыростью, псиной, кожей. Въедается в ноздри одеколоном. Лицо выбритое, розовое; слегка заплывшие, выпученные глаза — мутные фиолетовые жемчужины; кожаная куртка с воротником из искусственного меха — сырая от мороси, джинсы на ногах — грязные, потертые в коленях.

Велехвалов замолкает. С яростью бросается на вошедшего:

— Ты, мразь, по какому праву?!

— Батя? — клоочет человек.

Велехвалов оступается в своей ярости, обмякает и переходит на стон:

— Сына?!

Взгляд у капитана Велехвалова тлеет, еще чуть-чуть и — заискрится.

— Ты чё такой грязный, сына?

— Какой есть. Это кто?

— Товарищ мой. Единственный достойный мужик.

— Это потому, что держит много?

— И поэтому тоже!

— Как нашел?

— По адресу.

— Ай, в жопу тебя! Не хочешь, не говори.

Бесоногов ничего не слышит. Заплетается в себе. Пытается встать, но тело опрокидывается на табурет, шумит. Тихо обмякает. Костик улыбается, но лицо выдает отвращение.

— До твоего приезда — все два года держался.

— Подустал, с кем не бывает.

Капитан Велехвалов отошел в сторону, сел у окна. Закурил.

— Где вещь-мешок твой?

— Я без вещей.

— Как служба?

— Служба как служба.

— Бабы?

— Есть одна.

— Выпьешь?

— Выпью, если не сблюю.

— Ну, пока не выпьешь, не узнаешь, сына. Дальше все равно блевать некуда.

Это точно!

Велехвалов-старший заливается гиеной.

Костик смотрит на хохочущего отца, узнает себя, корёжит лицо. Велехвалов-старший опрокидывает плоскую фляжку бутылки вверх дном, водка заполняет стакан ровно наполовину.

— На, сына! И себе, — берет недопитый стакан Бесоногова. — Ему уже некуда.

— Жарко у тебя.

Костя краснеет еще больше, стягивает куртку, ищет серыми глазами, куда бы бросить. Кидает на затертый бархатный диван. Черная кофта облегает дюжее пухлое туловище. Разрастающийся живот просится наружу.

— Ты пить-то будешь?

— Буду.

Костя залпом опрокидывает стакан. Обжигающая горечь, резкий запах спирта дает в голову. Глаза слезятся. Часть идет носом.

— О-о-о! Все понятно! — воет Велехвалов-старший. — По-прежнему — не мужик, а заикание!

— Что тебе понятно?!

— Ты чего приехал, сына?

— Мне послезавтра — на службу. Скоро уеду, не ссы.

— А я, сына, не ссу. Давно не ссу. Я потихоньку готовлюсь, мне ссать нечего.

— Ты всю мою сознательную жизнь готовишься.

— Хочешь, покажу? — своими хитрыми изъеденными алкоголем створками Велехвалов-старший призывающе глядит на Костю.

— Что ты мне покажешь? Свою страницу в «В контакте»?

— Ага, страницу, — Велехвалов вскрывает новую бутылку, разливает по стаканам. — На, выпей еще.

На этот раз Костик не потерял ни одной капли. Даже получил удовольствие. Комната заблестела, а внутренний голос приятно запел. Что-то наивное просилось наружу, но Костик сдержался. Только громко ухнул и облизал вилку с налипшей на зубцах тушенкой. Товарищ Велехвалов с важным видом поднялся, тело повело к печи, но капитан остепенил его с профессионализмом кучера.

— За-а мной! Ша-а-агом марш!

Бесоногов подскочил, с закрытыми глазами прошел несколько метров, рухнул на диван, с остервенением провизжал: «Да здесь лопасти держи там-там! молоток! механика!», — и застонал во сне.

Велехвалов орал из комнаты: «Идешь ты или нет?!»

— Иду, — рывкнул в ответ Костик, вошел в комнату и протрезвел.

...Вот что увидел Костик Велехвалов в закрытой от посторонних глаз гостиной. Гербовый флаг Российской империи — 1 шт.; Государственный флаг Российской Федерации — 1 шт.; Военно-морской флаг Российской Федерации — 1 шт.; собственную армейскую фотографию в красно-коричневой рамке (молодой человек двадцати двух лет с измазанным машинным маслом лицом, обмотанный, словно шарфом, лентой патронов 30 на 165 мм для пушки 2А42 безумно улыбается) — 1 шт.; собственную армейскую фотографию № 2 (с группой сослуживцев на привале у костра, в вылинявшей пиксельной военной форме, вместо снарядов для пушки — автомат Калашникова перекинут через плечо, глаз не видно, шурится от смеха) — 1 шт.; портрет Президента Российской Федерации — 1 шт.; джутовый мешок, набитый песком — 20 шт.; стальной шлем — 1 шт.; противогаз — 1 шт.; прорезиненный комбинезон — 1 шт.; резиновые сапоги — 1 шт.; сухой паек на одни сутки — 10 шт.; бронежилет

камуфляжный — 1 шт.; берцы — 2 пары; плащ-палатка — 2 шт.; вещь-мешок — 2 шт.; противотанковая мина ТМ-62 — 2 шт.; противотанковая мина ТМ-72 — 2 шт.; единый пулемет «Печенег» 7.62 мм — 1 шт.; АК-74М — 1 шт.; магазин для АК-75М — 4 шт.; патроны 5.45 на 39 мм — 2 цинк. ящ.; ПМ (пистолет Макарова) — 1 шт.; магазина для ПМ — 1 шт.; противотанковая наступательная осколочная ударно-дистанционная граната 5 шт.; противопехотная оборонительная осколочная ударно-дистанционная граната 57-Г-721, или «фенюша» — 5 шт.

Боеприпасы, инвентарь, обмундирование были аккуратно разложены строем на расстеленной плащ-палатке. Знамена вместе с фотографиями висели на стене на фоне псевдо-персидского ковра.

Костя попятился — стена его остановила — головой задел выключатель. Свет погас. Тем же движением головы Костя вернул освещение. Велехвалов-старший ухмылял свое желто-серое лицо. Глаза на нем чернели пулевыми отверстиями.

— Ну-у-у! — взревел он из глубины своего безумия. — Что теперь скажешь?

На кухне послышался звон стекла, говорок Бесоногова. Велехвалов-старший подскочил к сыну. Щелкнул выключателем. Во мраке мини-склада задышал на Костю тухлой водой. Бесоногов засипел:

— Артур, Артур, товарищ капитан! — прочистил горло и громче, исступленно: — Артурчи-и-к!

Входная дверь хлопнула с треском. Дом замолчал.

— Тебя ж посадят, дурак!

— Хе-хе! На каждый склад найдется барыга, сынок. С миру по нитке.

— Стуканет кто-нибудь и закатают.

— Ты, че ли, стучать собрался?

Свет вернулся в комнату. Костик — нос к носу — стоял перед отцом. Зажмурил глаза, только бы не глядеть в эти дыры. Велехвалов-старший вытолкнул сына из гостиной. Выключатель щелкнул.

— Хотя бы этот, спортсмен малохолный, — дрожал Костик.

— Мямля он да и только. Ему сначала от соплей надо оттереться, тогда он, глядишь, что сообразит.

— А что если прикидывается?

— Сядь ты! Скучный лепет свой начал! Я тебе сколько раз говорил?! Вялой шишкой бабу не опробуешь, сына! Это истина, за которой сам... Ну, ты понимаешь. На, выпей.

Пить было нечего. Велехвалов в нетерпении искал «горючее». Пара пустых бутылок валялась на полу. Часть водки вытекла из опрокинутых стаканов, прозрачным прудом стояла на столе. Велехвалов-старший растерялся, с детской беззащитностью вытаращился на сына. Зрачки его сузились в диаметр грифеля, щеки впали, голова сдулась, нос удлинился. Что-то человеческое встало в горле у сына. Словно оклик какой, он услышал в себе: «Отец устал». Костя сглотнул. В бессилии зевнул. Товарищ капитан выпрямился, цокнул, вытанцевал из-за стола, скрылся на складе. Вернулся из тьмы с трехлитровой закатанной банкой с прозрачной жидкостью.

— Вскроем неприкосновенный запас.

— Это что?

— Слеза. Боевая роса. Живая вода. Как хочешь, так и обзывай.

Открывалкой-носорогом Велехвалов вскрыл банку. Половину расплескав по столу, разлил «боевую росу» по стаканам. Поднял глаза. В отвратном умилении посмотрел на сына.

— Давай, сына. За Россию!

Костя сглотнул рвотный позыв, залил его содержимым стакана. Оказалось, чистейший хлебный самогон. Он слегка обжег горло, но в какие-то секунды прикончил всякое уныние.

— Ты кое-что забыл, — расхорохорился Костик. — Котелок походный не подготовил.

— Моя школа, — слова теперь лились из Велехвалова-старшего лисьи, покладистые, и сам он со своим вытянувшимся носом походил на кукольного лиса. — Из котелка я еще сам ем.

Велехвалов-старший выстрелил указательным пальцем в печь. Там, на лежанке, стоял алюминиевый солдатский котелок. Наполовину облупившийся, бледно-салатовый, закоптелый по бокам, он вселил в Костика загадочную гордость. Сердце застучало.

— Тебя, батя, посадят. Наверняка! Поехали со мной. Черт с ним, с этим домом.

— Я никуда не поеду. Ясно! Никуда! По России буду ездить, ты помни, заикание ты мое! Я молния, сына! Молния.

— Какая ты молния?

— Два раза на месте не задерживаюсь.

— Куда теперь?

— А в Краснодар. Или в Петрозаводск. Или, знаешь, в Иркутск. Только туда машина не доедет...

— Ты и машину не пропил?

— Смешной ты не могу! Обморочная ты моя душа, — Велехвалов выставил губы в мокрый бордовый бант, сюсюкаяще заметил: — Ты думаешь, я здесь водочку пью и больше не делаю ничего?..

— У тебя целый оружейный склад, батя. Я уже вижу, что делаешь!

— Ай, отвали с шутками со своими. Раз в два года я снимаюсь и уезжаю дальше. Так меня никто не заметит. Я — кочевник. Я и матери твоей пытался говорить за душу мою кочевую. Я ей говорил, валить в Сибирь. В Сибири не достанут, в Сибири не найдут...

Велехвалов расплескал самогон по стаканам.

— Пей.

Выпить не успели. Товарищ капитан приподнялся на месте, расширил зрачки, точно кот перед прыжком, не сводя глаз с двери.

— Тебе чего, очарованный?

Костя оглянулся. В дверном проеме, выдыхая сизые облака, стоял Бесоногов. На зеленых спортивках между ног сырело пятно.

— Ты где был, Артур?

— Я — здесь. А ты?

— Я — бегал. Выпить дай.

— Иди отсюда, обмоченный, обмундирование смени.

— Ну дай!

— Пшел, говорю!

Велехвалов-старший выпал из-за стола, по инерции пробежал до двери, головой толкнул машиниста в пузо: Бесоногов, глухо тявкнув, вылетел во тьму открытой двери.

— Сын ко мне приехал! Завтра заходи!

Костя хохотнул, но тут же осекся. Желудок замутило. Кухня в своем грязном паутинном тусклом свете подтекала со всех сторон, что-то слезало и опадало на пол,

кислая вонь от порченной тушенки, самогон разгоняли в Костике беса. Он еще боролся. Еще вдалеке слышал и себя, и отца.

— Пригреешь змей, потом не отвяжутся.

— Батя, поехали в Питер. Здесь — тебе конец.

— На кой мне твой Питер, скажи мне. Я вон вижу, какой в тебе Питер. Как бомж пришел.

— Я — в отчаянии, пап.

— Чё-о-о?! Ты ныть ко мне приехал, крысеныш?! Жизнь побила?!

— Я же так, поговорить.

— А мне некогда разговаривать! Тело проспиртовать — и на бой. К бою! — рывкнул Велехвалов. — Ха-ха!

Костя дернулся, пригнулся было, но спохватился и выпрямился.

— Слышишь ты, это? Со всего мира доносится, а по углам прячешься, ссытись под себя! Плюшевое стадо! А капитан Велехвалов слышит, он готовится! Вы задницу подставляете, а я — грудью вперед, вам на зависть, тыловище! Я тебе говорил, я тебе говорил! Ты не для пухового платочка, ты — для плащ-палатки! На — пей! И не ной! Ты вон родине служишь, а все сопли жуешь.

— Не жую!

Костя грохнул кулаком по столу. Велехвалов подскочил. Еще больше загорелся.

— Соплежуй! — подкидывал поленья товарищ капитан.

— Заткнись!

— Нет никого, кто заткнет. Соплежуй!

— Да заткнись ты!

Костя задвинул отца столом к стене. В остервенении проскакал в комнату. Вылетел с гранатой. Кулак, сжимавший ее, побелел. Сухая кожа на костяшках разошлась белыми трещинками. Схваченная указательным пальцем чека блестела в левой руке.

— Ох ты ж! — Велехвалов искренне удивился, но только выпучил глаза, бросил локти на стол, стиснул голову ладонями, протянул: — Ой, помогите! Ой, спасите! Щас рванет! Вы посмотрите.

— Я отпущу и — в клочья!

— Отпускай. Только не тяни тёлкины истории, ладно? Хочешь подорвать — действуй. Нет — вола не терзай, возвращай чеку на место.

Очередное представление. Он, кажется, даже не пьян. Никогда не пьян. От скуки вид делает. Только горланит. Все — несерьезно. Все — блажь. Все — поражение. Дай ты мне быть поражением!

— Ну, действуй, сына! Заверши!

Костя покачал головой. Глаза его впали, прикрылись синяками, губы высохли. Хитрый лис все сидел, придавленный столом, славно улыбаясь. Костя вставил, загнул концы проволоки под прямым углом. Протянул гранату отцу.

— Не знаю, зачем приезжал.

— А ты себе оставь! На память о незавершенном. Можешь на леску повесить и ходить. Про табличку тоже не забудь. Большими буквами так на листе распечатай — об-мо-рок! — и носи. Нашел, кого пугать.

— Пошел ты!

Костя кинул гранату на стол.

— Оставишь — со мной на фарш пойдешь!

Костя даже не заглянул в отцовские глаза. Стального голоса хватило. В центре

издыхающего города, в центре отмирающих корней, в центре собственного отчаяния он стоял неприкаянный, неслучившийся, в своем дырявом пьяном тумане, через который он смотрел на жизнь, и не мог пошевелиться.

Надо завершить, надо завершить, надо завершить. Только бы не одному.

Раздавленный окончательно, он прошел к дивану, поднял кожаную куртку, сунул гранату во внутренний карман. Куртку перекосило, припухлость с внешней стороны походила на спрятанное индюшиное яйцо.

— Прощай, бать.

— Ты же понимаешь, тебя менты остановят и — небо в клеточку.

— Я ж сам мент. Забыл? Ну, прощай!

— Я тя вытаскивать не буду.

— Бывай, бать. Горячей службы!

Ночь-мазут залила младшего сержанта Велехвалова с головой. Левый карман тянуло боевое яйцо. Кажется, он до конца не понимал абсурдность своего положения. Тихо ступал. Слегка потревоженный сырым туманным осенним воздухом, он еще сохранял ту нелепую хмель, которая помогает человеку пронести свой собственный парадокс хотя бы до утра. А там — будь что будет.

Бросить ее здесь на улице. Подставить убудка. Пусть разбираются. Нет. Теперь уж до конца. Я же решил, я же предпринял.

Он обернулся в надежде, что отец выскочит, обматерит, позовет обратно. Но за спиной остался только фонарь и черный остов собора.

Морось вместе с рассеянным светом фонарей ложилась Костику на плечи. Темя с пятимиллиметровой щетиной волос мерзло. Кое-где свет пропадал, и Велехвалов вместе с ним. Во мраке шел на ощупь. На перекрестке он не свернул на Пролетарскую, а в разговоре с новым городом и собственным отчаянием прошел дальше по улице Ленина. Она молчаливо ползла до местного сквера. Младший сержант Велехвалов знал только одно: прекратить движение — закончиться. Сейчас было нельзя. Уличная голь, фонарное зудение, клякса расплывшегося пространства вокруг стояли о том же.

Войдя в костлявый, застывший черной судорогой голых деревьев сквер, он услышал собачий лай. В такой тишине он глушил и разносился эхом, казалось, лаяло несколько собак, и все они прятались за деревьями. К нему прилип гнусавый голос:

— Тихо, Маркес, тихо! — и команда: — Апорт!

— Мужик, извини!

Все стихло. Три дыхания, аромат сырого дерева в носу и шелест-чавканье собачьих лап.

— Сколько времени?! — стараясь не дерзить, крикнул Костя.

— Я щас собаку натравлю!

— Ясно. Спасибо!

Велехвалов достал из кармана смартфон, позажимал кнопку включения. Пошел дальше. Вышел на берег реки. Кемь застыла. Прямая, слюдастая. На другом берегу двухмерным растекшимся очертанием стоял еще один храм — это был Успенский собор, но Велехвалов об этом, разумеется, не знал. Слева, за изгибом береговой линии, показался тот самый откусанный временем и силами советских властей Благовещенский храм.

Справа от него по воде бежали высвеченные канатом гирлянды и сколоченный на скорую руку пирс, похожий на сходни. Две лодки большими рыбами покусывали его бока. Костя прошел по скрипучим доскам. Небо так и не показало ни одной звезды.

Он опустил глаза в слюду Кеми. Снарядом слюны скривил отражение. Достал из внутреннего кармана «фенюшу» и подержал над водой.

— Тогда что? — спросил он ее. — Всё? — улыбнулся. — Выпить надо, а не боеприпасы раскидывать, — вложил гранату обратно в карман, встал на колени, зачерпнул черной воды, смочил горло. — Да. Гульнуть напоследок.

Голос заключал, но звучал призывающе, трещал в ушах, словно кто-то подкрадывался сзади по дорожке, устланной хворостом: «Власть давно стала для него осаждающим законную территорию варваром, язык которого он не понимал, война предала капитана в запасе, товарища Велехвалова, но он не предал войну; он отчаянно боролся, взвешивая силы и опережая любые действия противника, но жизнь — не военная подготовка, жизнь, как его учили, есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел; “и это” существование подвело его еще раньше», — лез он. Костик стоял в комнате с подвешенным в воздухе отцом. Запахи отсутствовали. Люди отсутствовали. Был голос. Но его Костя слушать перестал. Он несколько раз втянул пустой воздух. Ничего не ощутил. Отец висел перед ним на высоте метра от пола, которого тоже не было. В светло-коричневом пространстве, точно обмазанном калом и подсвеченном снаружи, Костя стоял перед отцом и не знал, что сказать. Он хотел потрогать голое парящее тело, чьи руки двумя ковшиками ладоней скрывали пах, но ему не позволили. Они сказали, что трогать не время. Они сказали, что осталась минута. Костя спросил: «Кто вы?», но они не ответили, тогда он подумал, что лучше не перечить, лучше выполнять. Потом они схватили его за горло, стали душить, а он стал хватать воздух, хватал, хватал, откусывал невидимые куски... И они позволили ему вынырнуть из лишенной воздуха глубины, он вынырнул, но оказалось, только для того, чтобы погрузиться в другую. Тогда он решил закричать, они и этого не позволили, тогда он сказал: «Дайте проснуться». Они дали. И Костя проснулся. В своей кровати, в своей вонючей, со своей кислой горечью во рту. Санкт-Петербург не ждал его пробуждения, но звуки за окном шевелились и в кои-то веки светило солнце. Костя нашел себя в куртке, ноги от паха до колен охолодели, на внутренней части голого бедра прозрачными целлофановыми струпами засохла струйка обманутого семени, серые от грязи ботинки так и сидели на ногах, у мыска правого лежала стандартного размера фотография. Костя дернул ногой и смял ее уголок. Соседский ребенок, кареглазый узбечонок, игриво вбежал в раскрытую нараспашку комнату, пропахшую мочой и водкой, подошел к лежащему телу, ткнул его пальцем в волосатую мякоть бедра и тут же убежал с неясным сообщением на родном языке. Тогда в комнату влетела его мать, метнула ненавидный взгляд, отмахнулась и демонстративно хлопнула дверью.

Хлопок вытолкнул Костика из той каловой комнаты. Истерично хватая воздух, он согнулся пополам. Посмотрел на свои скукоженные от обезвоживания, слипшиеся гениталии, подтянул трусы и джинсы. Разжиженный мозг ничего не разбирал, что-то человеческое говорило Велехвалову об отчаянии, но какое ему было дело до отчаяния, если он ничего не помнил. Тогда он похлопал себя по бокам, точно что-то проверяя; ладонь споткнулась о твердую опухоль. У него еще было несколько секунд хоть что-нибудь осознать до того, как невидимые гвозди не начнут входить в голову с такой силой, что будет легче вскрыть себе горло, чем терпеть. Он запустил руку во внутренний карман куртки, вытянул увесистый подарок отца и, откинувшись на кровать, завыл от ледяной боли.

Утомленный, осужденный, растерзанный он нашел в себе силы, судорожно

простучал пальцем в экран смартфона, приставил ухо к динамику, из собственного гроба услышал голос:

— Миша... Миша... Это конец.

— Ты мне каждый раз так говоришь, — отвечал Миша из другого, бодрого и устойчивого, мира.

— Это — всё...

— Бабу какую-нибудь свою убил?

— Я не знаю.

— Труп рядом есть? Если есть, значит убил.

— Труса нет... Очень тяжело. Болит голова и граната «Ф—1» во внутреннем кармане.

— Учебная?

— Боевая.

— Я перезвоню.

Короткие гудки пожирали Костин мозг. Тогда он набрал еще один номер.

Если она не ответит, то не имеет смысла дальше продолжать. Исчезнуть из мира — и дело с концом. Память — куча дерьма. Леня копошиться.

Никто не ответил.

— Она никогда не отвечает, Миша.

— Кость, я же говорю, перезвоню.

— Мне нельзя сейчас... Мне сейчас нужно...

— Кость — это обычное похмелье. Ничего с тобой не случится.

— Уже случилось...

— Ну что?

— Смерть — это логический конец... Завершение...

— Понимаю, понимаю откуда ноги растут. Но не своими руками, Костя.

— У меня чужих нет...

— Тогда не носи пургу. Оставайся. Одно и то же. Комедию ломать хватит.

— А у тебя? Миша, у тебя то же самое.

— Я делом занят.

— Понимаю. Колесо останавливать нельзя.

— Неправильно и легче всего.

— Кто вообще сказал, что и как правильно?.. Кто вообще сказал?.. Что мне нужно делать, чтобы правильно?.. Я уж не знаю...

— Переписывай Достоевского, как ты любишь...

— Скучно... Повеситься тоже скучно... Курву эту подорвать — скучно... Я как кот... За чьими-то пальцами охочусь, каждый раз одурачен... А что если и там, Миша, — всего лишь кот сидит, кхе-кхе-кхе, сидит и ждет... Мы здесь мучаемся, а он тупыми глазками смотрит... играет... Туда прыгнул — наводнение, здесь лапкой хлопнул — смерть... Намучаешься, придешь к нему — а он тебе, кроме мяу своего ехидного ничего и не скажет...

Велехвалов еще какое-то время мямлил по заложенному в мертвый телефон и провалился в сон. Вечером он выпил снова, и все прояснилось: *Кемь, отец, граната.*

Две знакомые девятнадцатилетние проститутки, как могли, ублажали разъяренное тело, вынесли муки ненасытного и заснули, раскиданные по кровати мертвой плотью, словно после бомбардировки. Костя ходил вокруг них с водкой и обсосанным куском лимона в бокале, ощущал запах испробованного, использованного женского тела. Комнату перекосило, лепнина отцветшей орхидеей сползла на угол, ближе к стене.

Шкаф, кажется, расклеивался, при каждом брошенном на него взгляде стремился уплыть из квартиры. Голова росла, тянула шею, стремилась вырваться, а потом — стала не больше «фенюши», что лежала, скатившись на край прикроватной тумбочки от шума плотоядной суетни.

Разум не воспринимал реальность, память не знала жизни, сознание не воспроизводило мысли — только заикания.

Есть. Нет. Дело с концом. Там. Пусть там. Еще музыка эта. Короче. Член зудит, пульсирует. На каждую щель. Сказала. Кот белый. Пусть на голову положит. Нашла тогда и положила. Чикнуть по горлу. Мямля сплошная. Непрерывающиеся поминки. Обмоченным висеть? Какая разница. Какая разница.

Пухло утро, трупом лезло в окна, голубело. Звезды сошли, только фонари и фары водили огнями по судорожному пробуждению города. Еще не все дома и домики зажгли окна, женщины только начинали штукатуриться, а подземка зевнула дверьми, взвыла, потянулась первыми поездами, и кто-то совсем маленький и снулый шел, ведомый шершавой женской рукой ко входу в метрополитен, и Сенная разгоняла последние пьяные тени, еще никто не забыл ночь, но жизнь не давала оставаться во сне, а ребенок шел, спотыкался спросонья, и услышал, позвал кто-то, улыбнулся кто-то и сказал: «Здравствуй», но это были остатки сна. Дежурная у эскалатора громко, разявисто зевала и в нетерпении речи говорила коллеге, опиравшейся на оргстекло будки:

— Пе-э-э-репл-а-у-тов?

— Он и не должен быть здесь. Тогда подменял. Он по дальним точкам, ты чего?

— Сонька вообще накумекала, что он и не работает больше.

— Что я, слежу что ли?

— Иди ты.

— Ладно, ладно.

Тогда-то Костя, наконец, решился. Ответил загоревшейся мутью глаз на гранатный блик-ухмылочку, получил последний горький водочный ожог; борясь с поднимающимся вожделением, вдохнул яркие запахи вувльвы, поцеловал бездвижные девичьи попки; встал в центре комнаты, проделал упражнение на координацию движения (вытянул руки — правым, левым — указательными пальцами коснулся кончика носа); остановил убегающий шкаф, вытянул баклажанную форму, смахнул налипшие пылинки с погонов, облачился в привычный костюм, завершил облачение пухлым бушлатом и стертymi берцами. Что-то нужно было им оставить. Он положил на стол смартфон, ключи, опустевшую банковскую карту. Открыл ноутбук, создал текстовый документ, написал номер телефона Кристины и отца, следом добавил: «Им будет интересно. Может, скучно, а может — совсем другое. Я просто не хочу один». Больше пяти минут стоял перед экраном, выделял текст, меняя размер шрифта. Остановился на двадцатом. Оставив экран гореть, вышел в переднюю, в которой стоял все тот же несменяемый запах — выстиранного белья, хлорки и сапожного клея. По яркому молчаливому коридору прошел к входной двери, но вспомнил, что не оставил пин-код. Вернулся. Добавил четыре цифры на экран. Изменил цвет текста на красный. Вышел из квартиры.

Наконец-то он чувствовал себя защищенным, неуязвимым, решенным. Шел спокойно, слегка размазывая шаги, а люди вокруг опускали глаза. Пяти минут пути до станции он не запомнил. Только пожалел, что не воспользовался покорными цветущими телами напоследок. Городские запахи били в нос, сильнее всех был запах приправленного мяса. Он проходил рядом с кафе-шавермой. Хотел заскочить.

Лучше на голодный желудок.

В вестибюле метро Велехвалова окликнул знакомый сержант. Какая-то невысказанная глупость блестела у сослуживца во взгляде.

— О-о, Велехвалов, не поздновато?

— Самое то, — Костя вяло пожал ему руку.

— С попойки?

— Ага.

— Когда бухнем уже с тобой?

— А хоть завтра.

— Не, завтра с бабой одной...

— Ну, разберешься, набирай.

Велехвалов начинал трезветь. Вся шумовая рябь обрела звонкость: в ушах заголосило, зашуршало. Он, не глядя на сержанта, выставил ладонь и прошел через рамку металлоискателя. Острый писк выпотрошил мозг.

— О-о, Велехвалов! Пищишь-то как?! Террорист!

Младший сержант раздул щеки в рвотном позыве. Сержант заржал и задргал руками перед собой.

— Не напачкай там, младший сержант.

Костя ступил на эскалатор. Голова кружилась от змеиноного шевеления металлической дорожки под ногами. От россыпи людских голов, вниз по течению, мутило.

Потерни, потерни.

Когда ступил на ровную поверхность, глубоко вдохнул и выдохнул.

К Невскому? К Техноложке? Какая разница? Надо выбрать. Напоследок. Техноложка.

Поезд будоражаше рывкнул. Скрежетом разворошил нервы. Костя протиснулся в вагон. Уловил скрюченное неприятием лицо женщины. Различил пару слов из барахтанья звуков в наушниках у соседа-бородача. Услышал запах женского тела, которое тщательно вымыли, обмазали, надушили, и плотоядно улыбнулся, одной рукой выпрямил проволочные усики чеки, второй, проползшей на помощь, выдернул ее и (девушка еще успела подумать: «Было хорошо»; лысеющий краснощекий мужчина в углу — прочитать: «Раз уж зашел разговор о теле, сказал Христофор, я расскажу тебе, как зачинаются дети»; семилетний мальчик — разглядеть пятнистого тюленя во сне; молодой человек — добить в sms однокласснику: *на техноложке*; молодой отец, стоически выносивший утро, — поймать идею: «Пожалуй, часы»; девушка в накладных наушниках — под *Radiohead* переписать формулу в клетчатую тетрадь; мужчина в черной форме охранника, носом клевавший грудную клетку, — проснуться и обвести душливый салон потерянным взглядом, задержав его на плачущем бледном полицейском), прикрыл глаза.

Теперь не один.